

**Е**сть что-то сколь прекрасное, столь и грустное в том, что человечество, летя вперед с такой скоростью, что само укоряет себя за эту поспешность, вместе с тем благополучно стоит на месте. Сто лет назад Льву Николаевичу казалось, что человечество подошло к последнему порогу и просто поневоле примет истину, чтобы не прослыть безумным. А истина в том, что пора жить по-человечески — трудом и любовью, не подчиняясь никаким правительствам, присвоившим себе право командовать людьми, не служа никаким армиям, не платя никаких налогов, ибо земля Божья, а труд мой — какие могут быть посредники? Хватит, устали! Сколько можно слепо влечься за безумной историей, когда правда так проста? И какой чудесный образ находит Лев Николаевич в статье «Наше жизнепонимание»: наш дом на той стороне реки, и он совсем рядом, но нам хочется пройти, не замочив ног, и мы спускаемся все ниже, ниже по течению, не замечая, что река становится все шире, шире, пока не становится поздно.

Ну, а мы уж за столетие после Льва Николаевича вон еще насколько вниз спустились. И река уж — море, и дом видится только в снах. И бежим со скоростью, которая и представиться не могла в передовые времена Уточкина и Эдисона. И еще охотнее присваиваем своим дням звание последних времен, умножая толкования Апокалипсиса. А река, а дом...

Но почему, почему мы так стремительно стоим или так недвижно летим? Что с нашим жизнепониманием? Ведь это оно — жизнепонимание — дает нам чувство потока или болота. И что сейчас делать с толстовским опытом, с его хватанием за рукав: постойте! послушайте! Значит ли он еще что-нибудь или уже только «слова, слова, слова», только одинокое заблуждение, оплаченное таким же отчетливым, почти символическим одиночеством его погребения на краю Заказа — никого из этой могилы не окликнуть, не остановить, не сказать: брат!

Никак уже не прочтешь его столетнее «Жизнепонимание», как «текст» — отдельно от собственной его судьбы. Срослись. Напечатай сейчас эту краткую не статью даже, а завещание, безымянно — засмеются и отойдут. Даже обсуждать не станут. Разве только с улыбкой поддержат: да, хорошо бы правительство вон, армию вон, налоги вон! И только бы еще не работать, а жить хорошо, чтобы ОНИ эту жизнь обеспечивали. У нас уж это так: еще до того, как додумаем мысль, сразу являются ОНИ — правительство, церковь, долг, прогресс....

И как хорошо в соседних с «Жизнепониманием» работах, как дружно, как вполне по-нашему простые собеседники Льва Николаевича не понимают его: да как же? ведь вот оно как в жизни-то. И всегда так было. А он их логикой и Евангелием. А она, логика-то, для мужика — дело господское. Мужик по ней никогда не жил, потому что, даже и не учась нигде, а только отстаивая службы в своей деревенской церкви, знал: кесарево кесарю отдай. А Богово у Бога не отнимешь, если логику на порог не пускать.

Сам он счастливо удивляется, что мужик ему на вопрос: где найти такого-то старика, отвечает: не знаем, мы не здешние. Это «мы» восхищает Льва Николаевича — что вот нет у мужика «я» (разве когда зло делает), а так — всегда мы: мы общество, мы артель. В конце концов, не договаривает Лев Николаевич, мы —

народ. Хотя сам мужик так широко не думает. Но именно так — мы! А Лев Николаевич хочет его «я» научить. Я и Бог — без посредников. Тогда как у мужика только мы и Бог, а без этого один немец и протестантизм, про который мужик ничего не знает. Как не знает ничего про «Бытие-в-себе» и «Бытие-для-себя».

Так отчего же лучше нас это понимавший Лев Николаевич так упрямялся? Отчего в этом упрямстве даже Голгофы искал, а ему в ней было отказано, пока он сам ее себе не определил, будто не зная, что на Голгофу влекут, а не восходят, и что на кресте в последнем одиночестве ждет не победа, а только: «Боже, Боже мой, зачем Ты меня оставил?», и что и самые великие мысли, и великие служения от одиночества и оставленности не загородят. Отчего шел поперек такого очевидного и не от сытости придуманного, а историческим опытом выстраданного мира с его государством, армией, налогами?

А вот, страшусь сказать, — из великого, спасительного, небесного, навсегда правого стариковского эгоизма. И я тут не правду Софьи Андреевны, которая его тоже в эгоизме корила, имею в виду: что вот, де, дети без хлеба остаются, а он все раздает (он в перебор, и она в перебор — это уж закон такой, и всяк его по себе знает). И не про «гордыню», в которой его упрекает церковь. Я про другое. Про то, что всем нам свойственно, да только мы не решаемся сказать, а он не страшился.

Мы все, если не ленимся думать и глядеть на Божий мир прямо, однажды понимаем правду любимого Львом Николаевичем Карлейля, что «человек — часть неутомимого сердца природы». А неутомимость сердца куда как отлична от неутомимости прогресса. К концу жизни мы все узнаём столько, что и самим нам хочется, чтобы мир остановился на нас. Все мы успеваем увидеть за жизнь однообразное кружение истории, переодевание ее в разные платья при неизменной неподвижности духовных законов. И поняв это, однажды тоже, как он, хотим схватить жизнь за рукав и сказать: стой! Ты не туда! Там тебя опять ждут только другие платья, машины, зубные щетки, другие шампуни от перхоти и другое «Клинское». А в конце — то же одиночество перед Богом. Так давай сразу с главного, с «я» и Бог. Ведь как просто.

Кажется, это было его главное заклинание «ведь как просто!» А просто-то оказывалось только по логике, хотя бы и святой. Вот он и в заметке «Любите друг друга» как хорошо знает, что «любящий человек и один среди нелюбящих не погибает. А если и погибает, то, как Христос, — с победой». «Ведь это так просто, так легко, так радостно». А дневники его той же поры, поглядите: какая уж там радость? Даже в собственном доме горе и обида до небес. Легко и радостно написать: «Испытайте любовь и вы увидите, как вместо хмурого, сердитого и тяжелого состояния, вы будете светлы, веселы, радостны». Ведь это в точности то, что говорил Серафим Саровский. И ведь действительно — весело и радостно, и каждый это хоть однажды испытал. Но каждый также знает, что в реальности это весело и радостно, пока мы в келье, пока за рабочим столом с книгой святого единомышленника. А вышел из монастырской ограды, из кабинета, а там тебя мир ждет — и нет ни веселья, ни радости. И жалко этого своего только что оставленного света и любви. И поневоле душа закричит: да разве это не понятно, что любящий не погибает? Разве не всеобщее? И разве он, Толстой, какой-то другой, не из того же народа? Ведь я брат вам — как он писал после Определения Синода неумеренно пылким архиереям. Как мог бы сказать всему миру, да, кажется, он один всему-то миру и говорил, и не нас одних, а весь мир просил оставить правительства и армии или хоть начать с себя, а там все увидят, как это хорошо, и станут «светлы, веселы, радостны».

А вот проходит сто лет, и мы опять убеждаемся, что хорошо только, когда я один. А когда «мы», то сразу все другое. Сразу кругом, по Достоевскому, «черненькие и беленькие», сразу лесковские «углекислые феи» от революции, сразу «тварь я дрожащая или право имею», сразу «народная воля» и встречный деспотизм государя, в ответ на который еще больше «воли» и еще больше «тротильовый эквивалент». И все это понимают. А он-то что — нет?

Да понимает, понимает — лучше нас и потому с героизмом и святостью бросается на историю (а все правительства, армии, налоги — это ведь не человек, не жизнь дома, а история), надеясь с Христовой неуклонностью где притчами, где прямым словом

сказать что «наше жизнепонимание» искажено, что оно стоит на ложных основаниях и что начинать нужно совсем с другого конца — с Бога и любви. И с себя, с себя! Самому выйти из дурного все оправдывающего «мы» и стать «я». И тогда действительно не нужны будут ни армия, ни государство, ни история. «Ведь как просто». Но мы предпочтем остаться с историей — это не так накладно для души.

Потом дети вырастут, сами станут старики и, накружившись в хороводе времени, тоже поймут, что истории нет, а есть только Бог и любовь, но уже в свою очередь не смогут объяснить это своим детям. И падут так же, как пал он, не выронив знамени. А «наследники» и «передовые люди», как тогда, после его «ухода» и смерти, подхватят не зная, потому что начертанный на нем девиз обяжет их к труду и терпению, к любви и молитве. А подхватят самого великого старика и понесут его на руках, как жертву Богу, как свое несбывшееся, как то, чем мы могли быть, но не хотим, потому что это трудно и слишком близко к Господнему «Царство Божие силою нудится». Труд «жизнепонимания» — это так скучно, так неэффективно. А нести великого старика с тайным укором ИМ, делая из гроба такой же «тротилловый эквивалент» — так хорошо, так красиво, так прогрессивно.

Мир не переменится. Похоже, он до Страшного Суда не увидит Аустерлицкого неба. Он предпочтет предоставить небо Льву Николаевичу, своим подвижникам и святым, канонизируя и восславляя их, строя им церкви и библиотеки — видишь, Господи, мы понимаем! — чтобы спокойно шествовать путем своим железным, кесаревой дорогой, увы, не мужичьего святого «мы», а лукавого, освобождающего от ответственности самозащитного «как все».

Хорошо, что мы — такие умные, такие мережковские в своей тонкости, — говорим об этом и что Лев Николаевич все сводит нас с обманных, самооправдывающих высот прогресса на старицкие, детские, небесные дороги одинокой души, которая там, перед Богом будет «я», а не «мы». И где за «наше жизнепонимание» спросится строгой мерой.

И, слава Богу, что он все позволяет нам мучиться противоречием мысли и сердца, души и Духа и не знать последнего ответа

до своей Голгофы. Кажется, в России сейчас Ясная — единственное место, где человек стоит перед беспощадными вопросами жизни, не обманывая себя упованиями на милость Божию, потому что здесь виднее всего, какой ценой завоеывается эта милость.

И как грустно, и как хорошо, что начало XX века и начало XXI-го все стоят перед теми же вопросами, и Лев Николаевич — все опережающий современник, не устающий напоминать, что главные человеческие вопросы мы еще не начинали решать.